

более и более удаляясь от Пушкина, она вместе с тем считает себя верною хранительницей пушкинских заветов. У великих людей нет более опасных врагов, чем ближайшие ученики — те, которые возлежат у сердца их, ибо никто не умеет с таким невинным коварством, любя и благоговей, исказить истинный образ учителя». Именно аргументируя этот тезис, Мережковский с наибольшим блеском демонстрирует гибкость, диалектичность и продуктивность того сопоставительного метода, на использовании которого строится вся его статья. Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Толстой предстают как зеркала, в которых отразился Пушкин, и в каждом из них критик видит и подлинно пушкинские черты, и их искажение. Уже Гоголь, ближайший из учеников Пушкина, прямо черпавший из этого родника русского искусства, исполнявший замыслы, внушенные ему учителем, Гоголь, говорит Мережковский, «первый изменил Пушкину, первый сделался жертвой великого разлада, первый испытал приступы болезненного мистицизма, который не в нем одном должен был подорвать силы творчества» [3, с. 151] ¹.

Тургенев, пытающийся вернуться к спокойствию и равновесию Пушкина, являющийся законным наследником пушкинской гармонии, оказывается, однако, неспособным овладеть этим наследством. Его сходство с Пушкиным «поверхностно и обманчиво». В самом языке Тургенева, слишком мягком, женоподобном и гибком, уже нет пушкинского мужества, его силы и простоты. «Героическая мудрость Пушкина» оказывается ему недоступной.

Достоевский «ценит и понимает гармонию Пушкина проникновеннее, чем Тургенев и Гончаров, — он любит Пушкина, как самое недостижимое, самое противоположное своей природе», но тоже, хотя и по-другому, покидает пушкинскую стезю: «Пушкинская благодатная гармония превратилась здесь в уродливое безумие, в эпилептические припадки демонизма. Казалось бы, вот предел, дальше которого идти некуда. Но Лев Толстой доказал, что можно пойти и дальше по той же дороге» [3, с. 153—155]. Толстого Мережковский считает антиподом, совершенной противоположностью и даже отрицанием Пушкина в русской литературе. Он указывает на внешнее сходство обоих художников («И у Пушкина, и у теперешнего Льва Толстого — единство, равновесие, примирение») и на глубинные различия, кроющиеся за этим сходством: «...Единство Пушкина основано на гармоническом соединении двух миров; единство Льва Толстого — на полном разъединении, разрыве, насилии, совершенном над одной из двух равно великих, равно божественных стихий» [3, с. 157].

С грустью, если не с отчаяньем Мережковский видит, как Толстой вытесняет Пушкина из умов и сердец: «С Толстым спорят, его ненавидят и боятся: это — признак, что слава его живет и растет. Слава Пушкина становится все академичнее и глуше, все непонятнее для толпы... У нас со школьной скамьи его твердят наизусть, и стихи его кажутся такими же холодными и ненужными для действительной русской жизни, как хоры греческих трагедий или формулы высшей математики» [3, с. 158]. «Убыль пушкинского духа в нашей литературе» для Мережковского — «черная осень», которую мы переживаем в настоящее время.

Нет ничего легче, чем изыскивать субъективные оценки и другие слабые места в тех характеристиках Гоголя, Тургенева, Достоевского или других писателей, о которых говорится в статье Мережковского. Но вряд ли стоит делать это. Ведь Мережковский и не ставил здесь перед собой цели дать разностороннее и взвешенное представление о творческом обли-

¹ За Мережковским прочно укрепилась репутация мистика, и для этого, разумеется, есть определенные основания. Но именно поэтому заслуживает пристального внимания тот факт, что он неоднократно и резко выступал с осуждением мистицизма — перед нами лишь одно из них. Что стояло за этим осуждением, какова была его природа — эти вопросы нуждаются в специальном рассмотрении.